

# Письма о русской культурѣ

## I

### РУССКИЙ ЧЕЛОВѢК

Начиная свои бесѣды с читателем о русской культурѣ, надо условиться, о чем будет рѣчь, чтобы в дебрях частных не исчезла главная тема. Русская культура, о которой мы будем говорить на этих страницах, это не великое ея прошлое, уже отошедшее в исторію. Революція провела между этим прошлым и будущим рѣзкую грань. В сущности, в осмысленіи этой грани и состоит наша задача. Будущее скрыто от нас, но именно к нему устремлены наши взоры. Невозможность предсказаній особенно ясна на явленіях духовной культуры. Если это культура, заслуживающая этого имени, то творчество — творчество нового — составляет самое опредѣленіе ея. Но творчество свободно, не предопредѣлено и, слѣдовательно, непредвидимо. Попробуйте предсказать заранѣе научное открытіе, не говоря уже о художественном произведеніи. Чѣм выше оно, тѣм неожиданнѣе, удивительнѣе, чудеснѣе. Задним числом пытаются «объяснить» его. Но в сущности не идут дальше общаго его фона, обстановки, в которой оно увидѣло свѣтъ. Его рожденіе — богочеловѣческая тайна.

Но всякое созданіе культуры имѣет этот общій фон, который состоит из традицій, из соединенных усилій народа, из «общаго дѣла». Взятая из большой дали, культура обнаруживает единство — по крайней мѣрѣ, единство направленности. Так мы можем сказать, даже читая в переводах: это русскій автор, это французскій. Лишь об этих общих чертах, общих предпосылках національнаго стиля и может говорить историк. Лишь в этом общем завтрашній день продолжает вчерашній; здѣсь возможно, если не предвидѣніе, то ожиданіе.

Русская литература — и русская культура в цѣлом — до революціи имѣла свою направленность. Она обращала к будущему свои опредѣленные вопросы. Но эта нить рѣзко оборвана. Возможно ли связать ее узлом в той точкѣ (1917 г.), гдѣ она

оборвалась? Я этого не думаю. Признаюсь в своей слабости. Будучи рѣшительнымъ противникомъ политической реставраціи, я ничего не имѣлъ бы противъ реставраціи культурной. Со всѣми своими недостатками, даже пороками, культура старой Россіи мила мнѣ, какъ и всѣмъ людямъ моего поколѣнія. Намъ, привыкшимъ къ ея приволью и благородству, трудно дышать въ другомъ воздухѣ. Но надо смотрѣть правдѣ въ глаза: мертвого не воскресить. Не переставая помнить о немъ всегда съ грустью и нѣжностью, мы должны жить для живого, для тѣхъ дѣтей и внуковъ, которые, можетъ-быть, мало радуютъ насъ, но въ которыхъ живетъ нашъ родъ, живетъ Россія. Будущее Россіи сейчасъ уже связано не съ тѣмъ поколѣніемъ, которое было застигнуто войной 1914 года, а съ тѣмъ, которое воспитано октябрьской революціей. О, конечно, и ему предстоитъ пережить много кризисовъ, много духовныхъ переломовъ. Но едва ли оно будетъ выкорчевано съ корнемъ, какъ наше. Во всякомъ случаѣ, совершенно не видно, что могло бы смѣнить его. Ибо это поколѣніе — вся Россія.

Но, разумѣется, историкъ знаетъ, что, какъ не рѣзки бываютъ историческіе разрывы революціонныхъ эпохъ, они не въ силахъ уничтожить непрерывности. Сперва подпочвенная, болѣзненно сжалая, но древняя традиція выходитъ наружу, сказываясь не столько въ реставраціяхъ, сколько въ самомъ модернистскомъ стилѣ воздвигаемаго зданія. Однако, старина эта бываетъ не похожа на недавнее, только что убитое прошлое. Изъ катастрофы встаютъ ожившими гораздо болѣе древніе пласты. Можно сказать, пожалуй, что въ человѣческой исторіи, какъ въ исторіи земли, чѣмъ древнѣе, тѣмъ тверже: гранитъ и порфиръ не легко разсыпаются. Вотъ почему, не мечтая о воскрешеніи началъ XIX вѣка, мы можемъ ожидать — и эти ожиданія отчасти уже оправдываются — воскрешенія старыхъ и даже древнихъ пластовъ русской культуры. Октябрьское поколѣніе не помнящихъ родства было бы безсмысленно что-либо создать, если бы въ немъ — и въ немъ также! — не жилъ гений народа. — Вотъ почему необходимо имѣть всегда передъ глазами этотъ фонъ тысячелѣтней исторіи, на которомъ выдѣляются взбунтовавшіеся противъ него, но уже усмиряемые имъ «октябристы». Эти соображенія опредѣляютъ направленіе нашихъ поисковъ. Мы ищемъ предпосылокъ будущей культуры Россіи въ ея настоящемъ, стараясь уяснить его въ свѣтѣ прошлаго.

## 1

Первой предпосылкой культуры является самъ человѣкъ. Мы жадно вглядываемся въ черты новаго человѣка, созданнаго революціей, потому что именно онъ будетъ творцомъ русской культуры.



Вглядываемся — и не узнаем его. Первое впечатлѣніе — необычайная рѣзкость происшедшей перемѣны. Кажется, что перед нами совершенно новая нація. Спрашиваешь себя с волненіем и даже мукой: полно, да русскій ли это человѣкъ? Перебираешь одну за другой черты, которыя мы привыкли связывать с русской душевностью, и не находишь их в новом человѣкѣ. И вмѣстѣ с тѣм сколько новых качеств, которыя мы привыкли видѣть в чужих, далеких національных типах. Что осталось от «Святой» и от «вольной» Руси, по также и от Обломова, от «мальчика без штанов» и от всѣх положительных и отрицательных воплощеній русскаго національнаго лица? Мы привыкли думать, что русскій человѣкъ добр. Во всяком случаѣ, что он умѣет жалѣть. В русской мучительной, кенотической жалости мы видѣли основное различіе нашего христіанскаго типа от западной моральной установки. Кажется, жалость теперь совершенно вырвана из русской жизни и из русскаго сердца. Поколѣніе, воспитанное революціей, с энергіей и даже яростью борется за жизнь, вгрызается зубами не только в пранит науки, но и в горло своего конкурента-товарища. Дружным хором фугательств провожают в тюрьму, а то и в могилу, поскользнувшихся, павших, готовы сами отправить на смерть товарища, чтобы занять его мѣсто. Жалость для них бранное слово, христіанскій пережиток. «Злость» — цѣнное качество, которое стараются в себѣ развивать. При таких условіях им не трудно быть веселыми. Чужія страданія не отравляют веселья, и новыя совѣтскія пѣсни, вѣроятно, не звучат совершенно фальшиво в СССР:

И нигдѣ на свѣтѣ не умѣют,  
Как у нас, смѣяться и любить...

Мы привыкли считать, что русскій человѣкъ отличается тонкой духовной организаціей (даже в народѣ): что он «психологичен», чуток, не переносит фальши. Недавнія заграничныя гастролы Художественнаго Театра показали всему свѣту, что талантливѣйшіе русскіе артисты разучились передавать тонкія душевныя движенія. Им доступно лишь рѣзко очерченное, грубое, патетическое. Самое замѣчательное, что в этом нѣтъ ничего нарочитаго. Они хотѣли бы дать психологическую драму, хотѣли бы сохранить наслѣдіе Станиславскаго, они еще учатся у старых учителей. Но жизнь сильнѣе школы. Выйдя из новаго поколѣнія, они приносят с собой его безчувственность, — которая не исключает, конечно, художественной одаренности.

Мы привыкли считать, что русскій человѣкъ индивидуалист-одиночка, не способный к организаціи и общему дѣлу. Наши

большие люди всегда бунтари и «чудаки», идущие своим путем, не подчиняющиеся социальной дисциплине. О чем же говорит техника новых русских актеров, спортивных команд, певческих хоров? Великолепная массовая сцена, слаженность действий, изумительная четкость коллективных движений, — при сравнительной общности личных талантов. Нет гениев, но много талантов, и таланты эти раскрываются в коллективе. Да, ведь, это почти торжество немецкой «умренности и аккуратности», хотя и в боевых, военных темпах. Русский народ оказывается народом солдат, а не партизанов, команд, «Экип», а не искателей, одиночек, бунтарей.

Этот ряд противопоставлений можно было бы продолжить далеко. Оставлю пока без проверки, насколько основательны наши ходячие представления о нас самих. Мы привыкли, как и весь народ, глядеться на себя в кривое зеркало. Но факт несомнен: все характеристики русской души, удобные в прошлом, отказываются служить для нового человека. Он совершенно другой, не похожий на предков. В нем скорее можно найти тот культурный тип, в оттолкновении от которого мы всегда искали признак русскости: тип немца, европейца, «мальчика в штанах». Homo Europaeo-Americanus. Это вечное пугало русских славянофилов, от которого они старались уберечь русскую землю, повидимому, сейчас в ней торжествует. Такое первое впечатление, которое, конечно, нуждается в проверке.

Самый факт необычайно резкого перелома не подлежит сомнению. Не далеко искать и причины его резкости и глубины. Сама по себе революция — и какая! — не могла не перевернуть национального сознания. Ни один народ не выходит из революционной катастрофы таким, каким он вошел в нее. Зачеркивается целая историческая эпоха, с ее опытом, традицией, культурой. Переворачивается новая страница жизни. В России жестокость революционного обвала связана была к тому же с сознательным истреблением старого культурного класса и замкнутой его новой, из низов подымавшейся интеллигенцией. Второй источник катастрофы — хотя и совершенно мирный — заключается в чрезвычайно быстром процессе приобщения масс к цивилизации, в ее интернациональных и очень поверхностных слоях: марксизм, дарвинизм, техника. Это, в сущности, процесс рационализации русского сознания, в который народ, т. е. низшие слои его, вступил еще с 60-х годов, но, который, протекая сперва очень медленно, ускорялся в геометрической прогрессии, пока, наконец, в годы революции не обрушился настоящей лавиной и не похоронил всего, что сохранилось в народной душе от московского православного наследия. Двад-



цать лѣтъ совершили работу столѣтій. Психологическія послѣдствія такихъ темповъ должны быть чрезвычайно тяжкими. Прибавьте къ этому и третье, неслыханное и небывалое в исторіи осложненіе: тоталитарное государство, которое рѣшаетъ создать новый типъ человѣка, опираясь на чудовищную монополію воспитанія и пропаганды и на подавленіе всѣхъ инородныхъ вліяній. Эта задача удалась — по крайней мѣрѣ, в отрицательной части: новая интеллигенція, прошедшая черезъ совѣтскую школу и давно уже отбѣнившая остатки старой во всѣхъ областяхъ культуры и жизни, совершенно не похожа на старую и на тотъ «старый» народъ, изъ нѣдръ котораго она вышла. Новый человѣкъ: Euroaero-Americanus.

Что же, значитъ ли это, что Россія умерла? Что СССР, союзъ восточно-европейскихъ народовъ, лишенъ какой бы то ни было русской національной окраски, и нельзя уже в будущемъ говорить о русскомъ народѣ, какъ носителѣ особой національной культуры? Заключеніе послѣднее, но вопросъ ставится именно такъ. Какъ ни дико это звучитъ для нашего уха, но мы должны имѣть мужество смотрѣть прямо в лицо будущаго. Націи не вѣчны. Тысячелѣтіе, можетъ-быть, не слишкомъ ранній срокъ для смерти націи, хотя мы не знаемъ никакихъ законовъ, опредѣляющихъ длительность ея жизни. Поищемъ аналогій в исторіи — не для того, чтобы грубо примѣнять ихъ къ Россіи, но хотя бы для того, чтобы освободиться отъ предрасудковъ, отъ все еще не изжитыхъ, несмотря на всѣ катастрофы, оптимистическихъ иллюзій XIX вѣка.

## 2

Аналогіи бываютъ разныя. Есть и очень успокоительныя. Каждая нація проходитъ черезъ глубокіе кризисы, которые радикально мѣняютъ ея лицо. Оставаясь в предѣлахъ XIX вѣка, какъ измѣнилось, и при томъ не разъ, лицо Германіи! Германія романтизма, Германія Бисмарка и Германія Гитлера — кажутся совершенно разными націями. Русский романъ XIX вѣка («Дворянское Гнѣздо») сохранилъ намъ трогательный образъ нѣмца: прекраснодушнаго, чистаго сердцемъ, немножко смѣшнаго в своей наивности, преданнаго музамъ и мечтамъ. То было время (или реминисценція времени), когда нѣмецъ в политикѣ игралъ роль смѣшнаго «Михеля», и раздробленная Германія удовлетворяла свое честолюбіе единственно в сферѣ духа. Столѣтіе отъ Лессинга до Гегеля, в самомъ дѣлѣ, вѣнчало Германію королевой европейской мысли. За элитой мудрецовъ и поэтовъ стоялъ народъ — трудолюбивый, честный, лойальный, добродушный.

Двадцать лѣтъ (1848-1870), и Михель создает имперію. Романтическія мечты молодости сданы в архив. Трезвый, практическій, с волевым упорством и методичностью, он борется за производство, строит великую науку, колоссальную индустрію, могущественное государство. Надо всё начинать доминировать «воля к власти». Это путь, который в годы великой войны русская интеллигенція грубовато окрестила: от Канта к Крушцу. Четыре года (1914-1918) сверхчеловѣческаго напряжения, и бисмарковскій нѣмец погиб. Его смѣнил нѣмец Гитлера. Неврастеник, фантазер, разучившійся работать методически и отдавшійся во власть фантастической грезы. Судороги насилія он принимает за выраженіе силы и манію величія за національное самосознаніе. Теперь он презирает интеллектуальный труд и живет лишь пафосом войны. Из всего великаго прошлаго Германіи ему импонирует только «блѣкучій звѣрь» первобытнаго язычества. Как связать воедино эти три образа Германіи? Признаемся в своем безсиліи. Ясны тѣ связи, которыя идут от дѣдов к отцам и внукам: Германія Бисмарка живет капиталом мысли и трудолюбія, накопленным Михелем. Гитлер взял от отцов «волю к власти» и от дѣдов романтику ирраціональнаго. Но, глядя со стороны, эти три человѣческих типа кажутся не имѣющими ничего общаго. Нужно время, которое успокоит бурю и выявит длительныя, устойчивыя черты на лицѣ націи. Если... если только нація не погибнет. Т. е. не разрушится до конца то глубокое и неопредѣлимое единство, которое мы называем нѣмецким народом.

Но примѣръ Германіи скорѣе говорит — хотя и без особых убѣдительныхъ доказательствъ — о прочности національнаго организма, переживающаго бурныя катастрофы и болѣзни роста. Однако, судьба современной Европы может навести и на болѣе пессимистическія мысли о жизни и смерти націй. Можно говорить о постепенномъ вывѣтриваніи національнаго своеобразія почти у всѣхъ великихъ западныхъ націй. Современная культура все болѣе сливаетъ многообразіе европейскихъ типовъ в одинъ — европейскій. Странно говорить об этомъ в эпоху обостреннаго націонализма, когда народы Европы всё повернулись спиной другъ к другу. Но ненависть раздѣляетъ часто кровныхъ братьевъ, ненавидятъ чаще свое, домашнее, современная національная ненависть является отраженіемъ внутреннихъ политическихъ страстей. Ненависть направлена на народы фашистскіе, демократическіе, коммунистическіе, т. е. в концѣ концовъ, на внутреннихъ враговъ; на тотъ политическій типъ, который хотятъ истребить в своей собственной странѣ. Прибавьте противорѣчія интересовъ, дѣйствительныя или мнимыя, между государствами



(а это не то же, что націи), психологию страха, злопамятства, реванша или самозащиты. Среди сил, раздѣляющих Европу, я не вижу противоборщій національнаго духа. Вот уже цѣлое столѣтіе, какъ этотъ національный дух фразгался капиталистической научной культурой, общей всему Западу. Больше всего денационализации подверглись тѣ классы, которые были носителями новой цивилизаціи: торгово-промышленная буржуазія, ученая и культур-трегерская интеллигенція, артистическая богема — и, наконецъ, промышленный пролетаріатъ. Национальное сознаніе хранилось древней и той большой литературой, которая жила традиціей. Борьба между уходящей націей и торжествующей Америко-Европой не кончена, но побѣда послѣдней чрезвычайно ускорена революціями послѣднихъ лѣтъ. При этомъ цѣли и лозунги революцій безразличны: коммунизмъ в Россіи и фашизмъ в Италіи (я спрашиваю себя: и расизмъ в Германіи?) имѣли одинаково денационализирующее дѣйствіе на подвергшіеся имъ народы. Всѣ новѣйшія революціи создаютъ одинъ и тотъ же психологическій типъ: военно-спортивный, волевой и антиинтеллектуальный, технически ориентированный, строящій іерархію цѣнностей на приматѣ власти. Этотъ типъ человѣка есть послѣдній продуктъ западной цивилизаціи, продуктъ перерожденія буржуазнаго индивидуализма. В немъ нѣтъ ничего русскаго, нѣмецкаго, итальянскаго. Особенно горестна и даже трагикомична судьба Италіи. Италія дольше другихъ націй сохраняла связь съ землей, со средневѣковымъ прошлымъ, великимъ и своеобразнымъ. Капитализмъ былъ безсиленъ стереть его черты. Понадобилась мнимо національная революція Муссолини, чтобы уничтожить старый, благородный народъ и превратить его въ «потомка римлянъ», т. е. въ европо-американца. Характерно это равнодушіе, съ какимъ Муссолини разрушаетъ средневѣковый Римъ, чтобы обнажить излюбленные имъ остатки Рима античнаго. Но всякому извѣстно, что императорскій Римъ не имѣлъ своей національной культуры, что между древнимъ Римомъ и современной Италіей нѣтъ ничего общаго; что наслѣдіе Рима досталось не Италіи, а всей Европѣ, и что, пожалуй, среди всѣхъ европейскихъ націй на римское духовное наслѣдство имѣетъ больше правъ Франція. Муссолини разрушилъ Италію совершенно такъ же, какъ Ленинъ Россію и, можетъ быть, какъ Гитлеръ Германію.

Но судьба европейскихъ націй еще не рѣшена. Борьба не кончена; силы духовной реакціи еще находятъ себѣ опору въ пробужденіи религіознаго чувства, въ исторической памяти и «регионализмѣ». Воскрешеніе къ жизни столькихъ малыхъ націй гальванизируетъ и старыя, одряхлѣвшія. Исходъ этого драматическаго процесса не ясенъ. Но въ прошломъ мы имѣемъ примѣры гибели

націй. Среди них можно найти один, необычайно поучительный, — потому что он совершился без катастроф, без завоеваний, с сохранением видимой непрерывности языковой и политической. У нас видят в языкѣ и государствѣ чуть ли не исчерпывающую характеристику націи. Ну, так есть, или был народ, который сохранил и язык и государство, перестав быть самим собой. Я говорю о греках. Кто серьезно признает в современных греках соотечественников Перикла и Сократа? А между тѣм литературный язык их чрезвычайно близок к классическому. В Византіи писали почти чистым греческим языком, конечно, с легкими перемѣнами в словарь, но не большими, чѣм это обычно в многовѣковой исторіи единого народа. Римская имперія, в составѣ которой жили классическіе греки со второго вѣка до Р. Х., не была разрушена. Государство, которое мы называем условно Византіей, само себя называло Римской имперіей. А между тѣм духовный тип византійскаго грека настолько далек от классическаго, что их можно просто считать антиподами. Как же, в какой момент времени совершилось перерождение классическаго типа? Для этого не надо было тысячелѣтій, процесс совершился гораздо болѣе быстро, хотя и незамѣтно для современников. В третьем вѣкѣ по Р. Х. греческая литература (Плотин) еще бесспорно принадлежит классической древности. В пятом вѣкѣ столь же бесспорно — Византіи. Перерождение произошло за одно столѣтіе. IV вѣк был временем принятія христіанства и острой ориентализаціи Имперіи. Этих двух чисто духовных факторов было достаточно, чтобы породить новый народ из элементов стараго, при полном сохраненіи государства и языковой традиціи. Явленіе поразительное и угрожающее для современной Европы и Россіи. В особенности, для Россіи.

Россія переживает сейчас процесс, совершенно подобный константиновской имперіи: перемѣну религи и острую окцидентализацію — в масштабѣ всенародном. Устоит ли в этом перерожденіи русскій національный тип — и при каких условиях? Вот вопрос, который нас мучит. Отвѣтъ на него может дать только будущее. Сейчас ясно лишь, что борьба за русскую душу не кончена. Может-быть, она только еще начинается. Опасность несомнѣнна и грозна. Но то живое, что долетает до нас из Россіи, не дает права хоронить ее. Русская литература, как бы ни относиться к ней, все-таки русская, а не европейско-американская. И совсѣм уже русская — пѣсня, которую там поют. Вот почему нельзя сплеча рѣшать вопрос о гибели или перерожденіи русской націи, а слѣдует болѣе пристально вглядываться в происходящіе там глубокія измѣненія. Полный смысл



этих измѣненій откроется в будущем. Сейчас мы можем лишь спрашивать себя, какія черты «русскости» погибли, какія сохранились в грандіозной катастрофѣ старой Россіи.

## 3

Какими словами, в каких понятіях охарактеризовать русскость? Если безконечно трудно уложить в схему понятій живое многообразіе личности, то насколько труднѣе выразить болѣе сложное многообразіе личности коллективной. Оно дано всегда в единствѣ далеко расходящихся, часто противорѣчивых индивидуальностей. Покрывать их всѣх общим знаком невозможно. Что общаго у Пушкина, Достоевскаго, Толстого? Попробуйте вынести общее за скобку, — окажется так ничтожно мало, просто пустое мѣсто. Но не может быть опредѣленія русскости, из котораго были бы исключены Пушкин, Достоевскій и столько еще других, на них непохожих. Иностранцу легче схватить это общее, котораго мы в себѣ не замѣчаем. Но зато почти всѣ, слишком общія сужденія иностранцев отзываются вестернимой пошлостью. Таковы и наши собственные оцѣнки французской, нѣмецкой, англійской души.

В этом затрудненіи, — повидимому, непреодолимом, — единственный выход — в отказѣ от ложнаго монизма и в изображеніи коллективной души, как единства противоположностей. Чтобы не утонуть в многообразіи, можно свести его к полярности двух несводимых далѣе типов. Схемой личности будет тогда не круг, а эллипсис. Его двоцентрие образует то напряженіе, которое только и дѣлает возможным жизнь и движеніе непрерывно измѣняющагося соборнаго организма. Все остальное может быть сведено к одному из этих двух центров. В этом есть извѣстное насиліе над жизнью, но менѣе грубое, чѣм в монистических построеніях. При болѣе пристальном разсмотрѣніи каждый из центров національной души представится сам сложным многоединством. Его, в свою очередь, можно разлагать на составные элементы. Пусть это рабочий приѣм, но приѣм, себя оправдывающій. Если он не удовлетворяет нашего — очевидно, неосуществимаго — томленія по духовно-національному монизму (который может быть явлен лишь в послѣдней гармоніи Царства Божія), зато он хорошо объясняет природу историческаго движенія, драму расколов, кризисов и самую возможность развитія.

Если сейчас, в эмиграціи, попросить кого-нибудь из рядовых бѣженцев дать характеристику «русскости», я увѣрен, что мы получим два прямо противоположных портрета. Стиль этих

портретов нерѣдко совпадает с политическим лагерем эмигранта. Правые и лѣвые видят совершенно иное лицо русскаго челоука и лицо Россіи.

Возьмем лѣвый портрет. Это вѣчный искатель, энтузіаст, отдающійся всему с жертвенным порывом, но часто мѣняющій своих богов и кумиров. Беззавѣтно преданный народу, искусству, идеям — положительно ищущій, за что бы пострадать, за что бы отдать свою жизнь. Непримиримый враг всякой несправды, всякаго компромисса. Максималист в служеніи идеѣ, он мало замѣчает землю, не связан с почвой — святой безпочвенник (как и святой безсеребренник), в полном смыслѣ слова. Из четырех стихій ему всего ближе огонь, всего дальше земля, которой он хочет служить, мысля свое служеніе в терминах пламени, расплавленности, пожара. В терминах религиозных, это эсхатологическій тип христіанства, не имѣющій земного града, но взыскающій небеснаго. Впрочем, именно не небеснаго, а «новаго неба» и «новой земли». Всего отвратительнѣе для него умѣренность и аккуратность, добродѣтель мѣры и разсудительности, фарисейство самодовольной культуры. Он вообще холоден къ культурѣ, как къ царству законченных форм, и мечтает перелить всѣ формы в своем тигель. Для него творчество важнѣе творенія, исканіе важнѣе истины, героическая смерть важнѣе трудовой жизни. Своим родоначальником он чаще всего считает Бѣлинскаго, высшим выраженіем (теперь) — Достоевскаго. Не трудно видѣть, что этот портрет есть автопортрет русской интеллигенціи. Не всего образованнаго русскаго класса, а того «ордена», который начал складываться с 30-х годов XIX вѣка.

Однако, этот столь юный, послѣдній в русской культурѣ, интеллигентскій слой не лишен совершенно народных корней, — или, точнѣе, соответствій. Потому что здѣсь мы имѣем дѣло не с прямым вліяніем из народной глубины, а с темной, подсознательной игрой народнаго духа, которая в судьбѣ отщепенцев и мнимых апатридов повторяет черты иного, очень глубокаго и вполнѣ народнаго лица. Отщепенцы, бѣгуны, искатели, странники — встрѣчаются не только на верху, но и внизу народнои жизни. Их мы видим среди многочисленных сектантов, но также среди еще болѣе многочисленнаго слоя религиозно обезпкоенных, ищущих, духовно требовательных русских людей. В них живет по преимуществу кенотическій и христоцентрическій тип русской религиозности, вѣчно противостоящій в ней бытовому и литургическому ритуализму. Эти кенотическія силы народнои религиозности были освобождены вмѣстѣ с расколом XVII вѣка, т. е. вмѣстѣ с утратой церковной цѣлности. Поиски ду-



ховнаго града начались вмѣстѣ с сомнѣніемъ в безусловномъ православіи московско-петербургскаго царства. Такимъ образомъ и этотъ народный типъ, столь ярко отраженный русской литературой XIX вѣка, — сравнительно позднее образованіе — конечно, болѣе старое, чѣмъ интеллигенція, но, приблизительно, совпадающее по времени с Имперіей. Это не значитъ, что у него не было истоковъ в древней Руси — они были даны в кенотическомъ типѣ русской святости, — но в оторванности от почвы, в скитальчествѣ своемъ эта духовная формація принадлежитъ новѣйшей исторіи.

Любопытно, что у русской интеллигенціи, кромѣ народной параллели, есть и другая, все отчетливѣе проявляющаяся къ концу XIX вѣка. Это параллель еврейская. Не даромъ, начиная с 80-х годовъ, когда начался еврейскій исход из гетто, обозначилось тѣснѣйшее сляніе русско-еврейской интеллигенціи не только в общемъ революціонномъ дѣлѣ, но и во всѣхъ духовныхъ увлеченіяхъ, а главное в основной жизненной установкѣ: в пламенной безпочвенности и эсхатологическомъ профетизмѣ. Это была духовная атмосфера, в своей религіозной глубинѣ напоминающая первохристіанство, но, конечно, лишенная центрального стержня вѣры и потому способная рождать всевозможные, порой изувѣрско-сектантскіе уклоны. Русскіе реакціонеры правы, когда сближаютъ интеллигенцію с еврействомъ. Они лишь извращаютъ историческую перспективу, дѣлая еврейство соблазнителемъ невинныхъ русскихъ юношей. Нѣтъ, орденъ русской интеллигенціи давно сложился и вступилъ в единоборство с самодержавіемъ, когда начался первый, сперва слабый, притокъ из гетто, притягиваемый духовнымъ сродствомъ. Это именно сродство заставляетъ близорукаго западнаго наблюдателя рисовать «âme slave» в типично еврейскихъ чертахъ. Если для многихъ сіонистская работа в Палестинѣ кажется дѣломъ русской интеллигенціи, то Шпенглеръ — конечно, ненавистникъ ея — видитъ в кружкахъ русской интеллигенціи продолженіе духа и традиціи талмудистовъ. Да, былъ такой «особенный еврейско-русскій воздухъ», о которомъ одинъ еврейскій поэтъ сказалъ: «блаженъ, кто имъ когда-либо дышалъ».

И, однако, лишь иностранцу простительно не различать в единствѣ интеллигентско-сектантскаго типа славянскія и семитическія черты. Бѣлинскаго не примешь за еврея, и о еврействѣ Достоевскаго Толстой, конечно, говорилъ в самомъ метафорическомъ смыслѣ. Различіе тонкое, но ощутительное, — скорѣе в стилѣ, в эстетической оправкѣ, чѣмъ в этическомъ содержаніи, каковы и всѣ почти національныя различія. Родство интеллигенціи с народнымъ сектантствомъ — фактъ болѣе первич-

ный и сам по себѣ достаточный для того, чтобы этот интеллигентскій тип сдѣлать одной из исторических формаций русской души.

## 4

Я думаю, многие, и даже не из правых кругов, откажутся видѣть в этом интеллигентском типѣ самое глубокое выражение русскости. И мнѣ самому, когда я на чужбинѣ стараюсь вызвать наиболѣе чистый образ русскаго человѣка, он представляется в иных чертах. Глубокое спокойствіе, скорѣе молчаливость, на поверхности — даже флегма. Органическое отвращеніе ко всему приподнятому, экзальтированному, к «нервам». Простота, даже утрированная, доходящая до неприятія жеста, слова. «Молчаніе — золото». Спокойная, увѣренная в себѣ сила. За молчаніем чувствуется глубокой, отстоявшійся в крови опыт Востока. Отсюда налет фатализма. Отсюда и юмор, как усмѣшка над передним планом бытія, над вѣчно суетящимся, вѣчно озабоченным разумом. Юмор и сдержанность сближают этот тип русскости всего болѣе с англо-саксонским. Кстати, юмор, говорят, свойствен в настоящем смыслѣ только англичанам и нам. Толстой и его круг — большой свѣтъ Анны Карениной — в Европѣ только в англо-саксонской стихіи чувствуют себя дома. Только ее они способны уважать. Но, конечно, за вѣшной близостью скрывается очень разный опыт. Активизм Запада — и фатализм Востока, но и там и здѣсь буйство стихійных сил, укрощенных вѣковой дисциплиной.

Мы должны остановиться здѣсь, не пытаясь утончать нравственный облик этой русскости. Вообще, мнѣ кажется, слѣдует отказаться от слишком опредѣленных нравственных характеристик національных типов. Добрые и злые, порочные и чистые встрѣчаются всюду — вѣроятно, в одинаковой пропорціи. Все дѣло в отбѣнках доброты, чистоты и т. д., в «как», а не «что», т. е. скорѣе в эстетических, в широком смыслѣ, опредѣленіях. Добр ли русскій человѣкъ? Порою — да. И тогда его доброта, соединенная с особой, ему присущей, спокойной мудростью, создает один из самых прекрасных образов Человѣка. Мы так тоскуем о нем в нашей ущербленности, в одержимости всяких, хотя бы духовных, страстей. Но русскій человѣкъ может быть часто жесток, — мы это хорошо знаем теперь, — и не только в мгновенной вспышкѣ ярости, но и в спокойном безчувствіи, в жестокости эгоизма. Чаще всего он удивляет нас каким-то восточным равнодушіем к ближнему, его страданіям, его судьбѣ, которое может соединяться с большой мягкостью, поверх-



ностной жалостью даже (ср. Каратаева). Есть что-то китайское в том спокойствіи, с какой русскій крестьянин относится к своей или чужой смерти. Эта мудрость выводит нас за предѣлы христіанства. Толстой глубоко чувствовал до-человѣчскіе, природные корни этого равнодушія («Три смерти»). Нельзя обобщать также и волевых качеств русскаго человѣка. Лѣнив он или дѣятелен? Чаще всего мы видѣли его лѣнвым; он работает из под-палки или, встряхиваясь в послѣдній час, и тогда уже не падит себя, может за нѣсколько дней наверстать упущенное за мѣсяцы бездѣлья. Но видим иногда и людей упornaго труда, которые вложили в свое дѣло огромную сдержанную страсть: таков кулак, изобрѣтатель, ученый, изрѣдка даже администратор. Рыхлая народная масса охотно отдаёт руководить собой этому крѣпкому «отбору», хотя рѣдко его уважает. Без этого жестоко-волевого типа созданіе имперіи и даже государства Московскаго было бы немислимо.

Заговорив о Московском государствѣ, мы даем ключ к разгадкѣ второго типа русскости. Это московскій человѣкъ, каким его выковала тяжелая историческая судьба. Два или три вѣка мяли суровыя руки славянское гѣсто, били, ломали, обламывали непокорную стихію и выковали форму необычайно стойкую. Петровская имперія прикрыла сверху европейской культурой московское царство, но держаться она могла все-таки лишь на московском человѣкѣ. К этому типу принадлежат все классы, мало затронутые петербургской культурой. Все духовенство и купечество, все хозяйственное крестьянство («Хорь» у Тургенева), поскольку оно не подтачивается снизу духом бродяжничества или странничества. Его мы узнаем, наконец, и в большой русской литературѣ, хотя здѣсь он явно отгѣшен новыми духовными образованиями. Всего лучше отражает его почвенная литература — Аксаков, Лѣсков, Мельников, Мамин-Сибирякъ. И, конечно, Толстой, который сам цѣлком не укладывается в московскій тип, но все же из него вырастает, его любит и подчас идеализирует. Каратаев, Кутузов, Левин-помѣщик — это все москвичи, как и капитан Миронов и Максим Максимович — пережившіе Петровскій переворот московскіе служилые люди. Николаевскій служака, которому так не повезло в обличительной литературѣ, представляет послѣдній слой московской формации. Мы встрѣчаем его и на верхах культуры: Посошков, Болотов (мемуарист), семья Аксаковых, Забѣлин, Ключевскій и Менделѣев, Суриков и Мусоргскій — берем имена на удачу — все это настоящіе москвичи. Здѣсь источник русской творческой силы, которая, однако-же, как и все слишком національное («истинно русское»), не лишена узости.

Узость Толстого и Мусоргскаго может принимать даже трагическія формы.

## 5

Таковы два полярных типа русскости, борьба которых, главным образом, обусловила драматизм XIX вѣка. В них можно видѣть выраженіе основного дуализма, присущаго русской душѣ. Но это лишь послѣднее во времени, исторически обусловленное выраженіе этого дуализма. В культурных напластованіях русской души это ея московскій слой и тот послѣдній, «интеллигентскій», который рождается с 30-х годов прошлаго вѣка. Но этот историческій подход к проблемѣ русской души сам по себѣ уже указывает на необходимость выйти за предѣлы установленнаго нами дуализма. Между Москвой и интеллигенціей лежит Имперія. Да и не с Москвы началась Россія. Гдѣ же среди нас русскій человекъ Имперіи, русскій человекъ Кіево-Новгородской Руси?

Когда мы, вслѣд за Достоевским и ориентируясь на Пушкина, повторяем, что русскій человекъ универсален и что в этом его главное національное призваніе, мы, в сущности, говорим об Имперіи. Ни московскому человекѣ, ни настоящему интеллигенту не свойственна универсальность. Напротив, они отличаются узостью косности или узостью сектанства. Но Петровская реформа, дѣйствительно, вывела Россію на міровые просторы, поставив ее на перекресткѣ всѣх великихъ культур Запада, и создала породу русскихъ европейцев. Их отличает, прежде всего, свобода и широта духа — отличает не только от москвичей, но и от настоящихъ западныхъ европейцев. В теченіе долгаго времени Европа, как цѣлое, жила болѣе реальной жизнью на берегахъ Невы или Москва-рѣки, чѣм на берегахъ Сены, Темзы или Шпрее. Легенда о том, что русскій человекъ необыкновенно способен к иностраннымъ языкам, создана именно об этой имперской, дворянской формациі. Простой русскій человекъ — москвич, как и интеллигент — удивительно бездарен к иностраннымъ языкам, как и вообще не способен входить в чужую среду, акклиматизироваться на чужбинѣ. Русскій европеецъ былъ дома вездѣ.

За два вѣка своего существованія он нам знаком в двухъ воплощеніяхъ — скитальца и строителя. Натуры слабыя легко бывали раздавлены богатствомъ чужой культуры. Противорѣчіе между всей скалой опѣнокъ старой русской и новой западной жизни рождаетъ скептицизм, поверхностность или преждевременную усталость. Начиная с петиметров 18 вѣка, «душою принадле-



жащих коронѣ французской», через Онѣгиных, Рудиных и Райских — цѣль лишних людей проходит через русскую литературу. Еще недавно в них принято было видѣть основное теченіе русской жизни. Это колоссальное недоразумѣніе, род историко-литературной aberrации. Мы знаем и другой тип русскаго европейца — того, который не потерял силы характера московскаго человѣка, связи с родиной, а иногда и вѣры отцов. Именно эти люди строили Имперію, воевали и законодательствовали, насаждали просвѣщеніе. Это подлинныя «птенцы гнѣзда Петрова», хотя справедливость требуетъ признать, что родились они на свѣтъ еще до Петра. Их генеалогія начинается с боярина Матвѣева, Ордина-Нащокина — быть-можетъ даже с Курбскаго. Их кульминація падаетъ на вѣкъ Александра. Тогда они занимали почти всѣ правительственные посты, и между властью и культурой не было разрыва. Пушкин, «цѣвецъ имперіи и свободы», былъ послѣднимъ великимъ выраженіемъ этого имперскаго типа. Но он не исчез вполнѣ и послѣ Николаевскаго разрыва между монархіей и культурой. В эпоху великихъ реформ, на короткое время, европейцы опять стали у власти. Мы еще видѣли «послѣднихъ могиканъ» в Сенатѣ, в Государственномъ Совѣтѣ, при двухъ послѣднихъ императорахъ, когда, отбѣсненные отъ власти и вліянія, они хранили свой богатый опытъ, свою политическую мудрость — увы, уже ненужную для вырождающейся династіи. Но ниже, в управленіи и судѣ, во всѣхъ либеральныхъ профессіяхъ, в земствѣ и, конечно, прежде всего в Университетѣ европейцы выносили, главнымъ образомъ, всю тяжесть мучительной в Россіи культурной работы. Почти всегда они уходили отъ политики, чтобы сохранить свои силы для единственно возможнаго дѣла. Отсюда их непопулярность в странѣ, живущей в теченіе поколѣній испареніями гражданской войны. Но в каждомъ городѣ, в каждомъ уѣздѣ остались слѣды этихъ культурныхъ подвижниковъ — гдѣ школа или научное общество, гдѣ культурное хозяйство, или просто память о безкорыстномъ врачѣ, о гуманномъ судѣ, о благородномъ человѣкѣ. Это они не давали Россіи застыть и замерзнуть, когда сверху старались превратить ее в холодильникъ, а снизу в костеръ. Если москвичъ держалъ на своемъ хребтѣ Россію, то русскій европеецъ ее строил. Но, в сущности, какъ мы сказали, творческій или трудовой типъ европейца выросталъ самъ на московскомъ корню. Пусть в жизни ему приходилось всего больше бороться съ косностью и лѣнью москвичей, у него с ними была общность нравственнаго идеала, была общая любовь къ родной странѣ и къ ея «душѣ». Исторія Ключевскаго и русская музыка были его связью с Москвою. Тамъ, гдѣ это вывѣтривалось, европеецъ превращался в перекачи-поле, те-

ряя способность к созидательной работѣ. При иных условіях он мог превратиться в интеллигента, — это верхній, дворянскій исток интеллигенціи, весьма отличный от демократическаго. Но пока он стоял на трудовом посту, он был вѣрен Россіи и ея московскому завѣту служенія. Как раз в началѣ XX вѣка — с особой силой послѣ первой революціи 1905 г. — русскій европеец, человекъ культуры начал стремительно разрастаться за счет интеллигенціи. Могло казаться, что ему принадлежит будущее. Судьба сулила иное...

## 6

Что в русском человекѣ отнести на долю «удѣльно-вѣчевой» Руси? Сознвая всю произвольность и даже фантастичность дальнѣйшаго анализа, рѣшимся все-таки сказать: ту сторону русской природы, которую мы называем ея «широтой», ея вольность, ея бунтарство — не идейное или сектантское бунтарство, — а органическую нелюбовь ко всякой законченности формы. Русское сердце и понынѣ откликается на древнюю русскую лѣтопись, на «Слово о полку Игоревѣ». Можно смѣло сказать, что не суровые строители земли, не государственные люди, а князья-витязи, Мстиславы Удалые, викинг Святослав, новгородская вольница — говорят всего непосредственнѣе русскому національному чувству. Москвѣ не удалось, как извѣстно, до конца дисциплинировать славянскую вольницу. Она вылилась в казачествѣ, в бунтах, в XIX вѣкѣ она находит себѣ исход в кутежах и разгулѣ, в фантастическом прожиганіи жизни, безалаберности и артистизмѣ русской природы. В цыганской пѣснѣ и пляскѣ эта сторона русской души получает наиболѣе адекватное выраженіе. Если порою русскій разгул бывает тяжел и мрачен — тут сказались и татарская кровь и московскій гнет, — то часто он весел, щедр, великодушен. Таков разгул Пушкина, соединявшаго европеизм с русской вольной волей. Много талантливых русских людей стало жертвой своей природы (Ап. Григорьев), но до сих пор эта черта, если она хоть сколько-нибудь умѣрена дисциплиной и культурой, не отъемлема от русского генія. «Люблю пьяных», как-то против воли вырвалось у Толстого.

Мрачность и дѣтскость и здѣсь поляризуют русскую вольность. И в дѣтской рѣзвости, в юношеской щедрости, в искращемся весельѣ — русская душа, быть может, всего привлекательнѣе. Нельзя забывать лишь одного. Эта веселость мимолетна, безотчетная радость не способна удовлетворить русскаго человекъ надолго. Кончает он всегда серьезно, трагически.



Если не остепенится во время (по-московски), кончает гибелью — или клобуком...

Возможно ли заглянуть еще глубже в русскую душу, за Киев и Новгород, за грани истории? Снимая, как с луковицы, слой за слоем, культурно-историческіе пласты, найдем ли мы в русском человѣкѣ основное, неразложимое ядро? Может быть, вопрос поставлен неправильно. Национальная душа не дана в истории. Этническая психея служит лишь сырым матеріалом для нея, да и психей этих множество: славяне, финны, турки — всё отложились в русской душѣ. Нація не дерево и не животное, которое в сѣмени несет всё свои возможности. Націю лучше сравнить с музыкальным или поэтическим произведеніем, в котором первые такты или строки вовсе не обязательно выражают главную тему. Эта тема иногда раскрывается лишь в концѣ. Может быть, XIX вѣкъ болѣе национален, в этом смыслѣ (как откровеніе слова), чѣм Киев или Москва. Нисколько не предполагая, чтобы в славянском язычествѣ была заложена идея русскости (гдѣ здѣсь отличіе восточных славян от южных, т.е. русских от болгар и сербов?), стоит все же всматриваться в эту таинственную глубину. Мы лучше всѣх культурных народов сохранили природныя, дохристианскія основы народной души. На двѣ величайших созданій русскаго слова открывается нѣчто общее с примитивом народнаго фольклора. Тютчев, Толстой и Розанов как бы дистиллируют, перегоняя в приборах высокаго духовнаго напряженія, первобытную матерію русскаго языка.

Гдѣ искать ключа к нему? В этой статьѣ мы не можем идти дальше намеков, первых ступеней, ведущих в подземныя галлерей русской души. Недавно В. В. Вейдле («Совр. Зап.» № 64)\* пытался нащупать — правильно, по моему, — эту русскую стихію в родном началѣ. Русскій славянин и в XIX вѣкѣ еще не оторвался вполне от матери-земли. Его сращенность с природой дѣлает трудным и странным личное существованіе. Природа для него не пейзаж, не обстановка быта и уж, конечно, не объект завоеванія. Он погружен в нее, как в материнское лоно, ощущает ее всѣм своим существом, без нея засыхает, не может жить. Он не осознал еще ужаса ея безжалостной красоты, ужаса смерти, потому что в нем нечему умирать. Все то, что в человѣкѣ есть дѣвнаго и высокаго, — это общее, родное, неистребимое. А личное не стоит безсмертія. Моральный закон личности, ея право на свою со-

\* Ср. также мой опыт «Стихи духовные», YMCA-Press, 1935.

вѣсть, на свое самоопредѣленіе просто не существуетъ передъ закономъ ж и з н и. В нравственной сферѣ это создаетъ этику міра, коллектива, круговой поруки. В искусствѣ громадную чувственную силу воспріятія и внушенія (отъ Геи-земли), при большой слабости формы, личнаго творческаго замысла. В познаніи, разумѣтся, — ирраціонализмъ и вѣра в интуицію. В трудѣ и общественной жизни — недоувѣріе въ плану, системѣ, организаціи и т.д. и т.д. Славянофильскій идеалъ — при всемъ своемъ сознательномъ христіанствѣ — весьма сильно пропитанъ этими языческими переживаніями славянской психекъ. Зато и в народномъ бытѣ она намъ дана уже в оцерковленномъ видѣ, такъ что для многихъ она кажется даже сущностью православія. На самомъ дѣлѣ, она ничего общаго съ христіанствомъ не имѣетъ и уводитъ насъ скорѣе далеко на Востокъ. Еще шагъ, и мы уже в Индіи съ ея окончательнымъ проваломъ личности.

Но можно спросить себя: гдѣ же в этой исторически-словесной схемѣ русской души ея христіанскій, православный слой? Но все дѣло в томъ, что и этотъ слой не одинъ, и есть столько же типовъ русскаго христіанства, сколько историческихъ типовъ русскаго человѣка, а, можетъ быть, и еще больше. Если каждый народъ по своему переживаетъ христіанство, то и каждый культурный слой народа имѣетъ свой ключъ къ христіанству или, по крайней мѣрѣ, свои отгѣнки. Впрочемъ, в русской душѣ не приходится говорить об отгѣнкахъ: всѣ противорѣчія ея встаютъ в необычайной обостренности. Попробуйте выразить одной формулой религиозность преп. Сергія и прот. Аввакума, митр. Филарета и Достоевскаго. А что, если прибавить сюда православный фольклоръ и религію Толстого?

Есть мнѣніе, широко распространенное, что русскій народъ отличается отъ другихъ народовъ Европы особой силой своей религиозности. На самомъ дѣлѣ, это впечатлѣніе объясняется тѣмъ, что XIX вѣкъ застаеъ Россію и Европу на разныхъ актахъ религиозно-исторической драмы. В Россіи — в народныхъ слояхъ ея — среднеувѣковье удержалось до середины XIX вѣка. Европа XIV—XV столѣтій представляла бы болѣе близкую аналогію императорской Россіи. Но зато и крушеніе русскаго среднеувѣковья особенно бурно и разрушительно. В отношеніи къ религіи массъ и интеллигенціи сейчасъ уже нѣтъ замѣтной разницы между Россіей и Европой.

Такова наша схема. Грубая и недостаточная, какъ и всѣ схемы вообще. Ее можно усовершенствовать, развивая в деталяхъ. Но тогда, пожалуй, лѣсъ исчезнетъ за деревьями. Думается, что для поставленной нами цѣли — для опредѣленія предпосылокъ пореволюціонной культуры, историческая схема русскаго



человѣка плодотворнѣе, экономичнѣе «онтологических» или «феноменологических» схем. Ея достоинство, по крайней мѣрѣ, в том, что она не грѣшит всегда соблазнительным монизмом.

## 7

Теперь мы можем подойти к отвѣту на основной вопрос: что, какіе историческіе пласты в русском человѣкѣ разрушены революціей, какіе пережили ее? Отвѣт, в сущности, ясен из предыдущаго. Истребленіе стараго, культурнаго слоя и уничтоженіе источников, его питавших, должно было снять в духовном строеніи русскаго общества два самых верхних его слоя. Имперскій человѣкъ и интеллигент погибли вмѣстѣ с «буржуазіей», т.е. с верхним этажом стараго общества. Что касается имперскаго типа, человѣка универсальной культуры, то остатки его еще сохраняются в рядах «спецов». С нѣкотораго времени власть спохватилась, что истребленіе высшаго культурнаго слоя наносит непоправимый урон техникѣ. За оставшимися стариками стали ухаживать. Но в них цѣнили именно узких специалистов: как выразился один неглупый человѣкъ, заколачивали гвозди золотыми часами. Их широкая культура, никому не нужная, даже оскорбительная для новаго правящаго слоя, доживает в предѣлах чрезвычайно малых кружков и даже семейств. Новый образованный класс дает исключительно спецов, лишенных часто самых элементарных основ общей культуры (даже грамотности). С другой стороны, никогда, со времен московскаго царства, Россія не была отгорожена от Европы такой высокой стѣной. Эта стѣна создана не только цензурой и запретом свободнаго выѣзда, но и необычным національным самоубійем, прямым презрѣніем к буржуазной, «догнивающей» Европѣ. В этом существенная разница между полу-грамотной, технической интеллигенціей Петра и такой же интеллигенціей Сталина... Сталинская повернулась спиной к Европѣ и, слѣдовательно, добровольно пресѣкла линію русскаго «универсальнаго» человѣка.

Сложнѣе была судьба интеллигенціи в узком смыслѣ слова. Прежде всего этот класс, во всей яркости своего необычнаго типа, не дождал даже до революціи. Послѣ 1905 г. он быстро разлагался, сливаясь с «культурным» слоем. Он не мог пережить крушенія политической мистикѣ, профанированной жалким русским конституціонализмом; новая блестящая релігиозно-философская культура русскаго Ренессанса XX в., лишенная всякаго этическаго паюса, деморализовала его своими соблазнами. Война вовлекла его в поток новаго для него національ-

наго сознания. В 1917 г. революционный энтузиазм интеллигенции был подогрѣтым блудом. Его корни были неглубоки, и объем этой социальной группы — единственной, на которую могло вполнѣ опереться Временное Правительство — очень сжался. Октябрьскій переворот ударил по ней всей своей тяжестью. Принципіальные, непримиримые — они никак не могли принять торжествующаго насилия. Не удивительно, что в борьбѣ с ним они истекли кровью. Уцѣлѣвшіе были выброшены в эмиграцію, заполнили совѣтскія тюрьмы и концлагеря. Немногіе сумѣли приспособиться к условиям совѣтской службы и, превратившись в спецов, утратили постепенно всякое орденское обличіе. Мельница звѣринаго быта молала неутомимо. С волками жить, по волчьи выть. Кто не мог приспособиться, выбрасывался из жизни. Новая интеллигенція, приходящая на смѣну, органически предана совѣтскому строю, чувствует свою кровную связь с народом и с правящим классом, а потому, даже в оппозиціонности своей — скажем даже, предвосхищая будущее, даже в революціонной борьбѣ с властію, — не может переродиться в тот беспочвенно-идейный, максималистическій и эсхатологическій тип, — не говоря уже об орднѣ, — который мы называем русской интеллигенціей.

Однако, этот погибшій русскій тип не остался вовсе без преемника. Сектанство и духовное странничество не умерли в народѣ, как об этом свидѣтельствует настойчиво безбожная пресса. Революція вызвала к жизни даже новыя сектантскія — почти всегда эсхатологическія — образования. С другой стороны, часть старой интеллигенціи нашла свою духовную почву в Церкви. Здѣсь послѣдніе остатки разбитаго ордена могли утолить свою духовную жажду из того источника, который тайно и породил ее. В Церкви они сохранили, конечно, свои психологическія черты: безпокойство и максимализм, жажду цѣлостной, святой жизни. Здѣсь они оказались на одной почвѣ с народным странничеством. Нужно помнить, что духовныя границы между Церковью и сектантством послѣ революціи пролегают иначе, чѣм прежде. Гоненія сблизили, психологически, разныя исповѣданія. То, что осталось от стараго ордена — есть фермент для броженія всей религіозной массы. Но пока эта сила совершенно выброшена из культурнаго строительства или добровольно ушла из него. Для сегодняшняго дня русской культуры можно считать интеллигентскій тип совершенно вымершим.

Остается московскій человекъ с его непреодолимыми, в нем живущими предками. Народныя массы, из которых производится в совѣтской школѣ новый человекъ, до самаго послѣдняго времени жили в московском бытѣ и сознаниі. Самая радикаль-



ная идеологическая катастрофа не в силах пересоздать душевного склада. В интернационалистѣ, марксистѣ и т. д. — кто бы он ни был — не трудно узнать деревенского и рабочего парня, каким мы помним его в началѣ вѣка. Как ни парадоксально это звучит, но homo Europaeo-Americanus оказывается ближе к старой Москвѣ, чѣм к недавнему Петербургу. Парадокс разрѣшается очень просто. Homo Europaeo-Americanus мепѣ всего является наследником великаго богатства европейской культуры. Придя в Европу в период ея варваризаціи, он усвоил послѣднее, чрезвычайно сжуженое содержаніе ея цивилизаціи, — спортивно-технически-военный бытъ. Технический и спортивный дикарь нашего времени — продукт распада очень старых культур и в то же время приобщенія к цивилизаціи новых варваров. Москвичу, благополучно отсидѣвшемуся в русской деревнѣ от двухвѣковой имперской культуры, не нужно дѣлать над собой никакого нравственнаго насилія, чтобы идти в ногу с европейцами, проклявшими как раз послѣдніе вѣка своей культуры. Удивительнѣе может показаться легкость религіознаго отреченія. Но это особая, очень трудная тема. В остальном московскаго парня нужно было только размять, встряхнуть хорошенько, погонять на кордѣ, чтобы сбить с него старую лѣнь и мѣшкватость. То, что дѣлала с новобранцем царская казарма, то дѣлает теперь партія и комсомол: тренирует увальней и превращает их в дисциплинированных солдат. Для дисциплины — особенно военной, московскій человекъ дает необыкновенно пригодный матеріал. Из него строилась старая, императорская армія, лучшая в мірѣ, быть может, по качеству своей «живой силы». Вѣковая привычка к повиновенію, слабое развитіе личнаго сознанія, потребности к свободѣ, и легкость жизни в коллективѣ, «в службѣ и в тяглѣ» — вот что роднит совѣтскаго человекъ со старой Москвой. Москва была не бѣдна социальными энергіями — скорѣе наоборот, онѣ заглушали в ней все личное: недаром государственное хозяйство Москвы носило полу-социалистическій характер. Теперь Сталин и сознательно строит свою власть на преемствѣ от русских царей и атаманов. Царь-Пугачев... Перенесеніе столицы назад в Москву есть акт символическій. Революція не погубила русскаго національнаго типа, но страшно обѣднила и искалѣчила его.

Русская вольница, конечно, неистребима. Жила она в царской Москвѣ, живет и в сталинской. Она прошумѣла бунтом первых лѣтъ революціи, она кричит о себѣ разгулом, все время подрывающим основы коммунистической дисциплины, она живет в беззавѣтной удали русских летчиков, полярных изслѣдователей. Все то, чѣм красна сейчас русская жизнь и русское

искусство, напоминает о героических вѣках русского прошлаго. Русская воляность, не то, что свобода, но она спасает лицо современной Россіи от всеобщаго и однообразнаго клейма рабства. Натуры сильныя ищут и находят выход своим силам. Наличие этих сил может давать надежду — сейчас еще далекую — на освобожденіе.

Но сохранились ли самыя глубокіе — славянско-языческіе — пласты русской души? Этого мы не знаем. Могучій процесс рационализаціи убивает безжалостно все подсознательно-стихийное, засыпает всѣ глубокіе колодцы, дѣлает русскаго человѣка поверхностным и прозрачным. Но до конца ли? Нѣтъ ли таких медвѣжьих углов, гдѣ еще живут старыя повѣрья, не порвалась древняя связь с землей? Вѣдь сохранилось же знахарство и шаманство, — о чем нам время от времени сообщает совѣтская этнографія. Почему же не сохраниться болѣе смутным и тонким комплексам родовой пантеистической душевности? Знаем, что кое-что сохранилось, что недаром лишет Пришвин, кто-то должен сочувственно читать его. Но не знаем, достаточно ли это сохранившееся, чтобы по-прежнему питать большую русскую литературу. Ибо в этом вся значительность этого темнаго, русскаго пятна. Исчезнет оно, и русская литература, может быть, навсегда утратит свои подземные ключи, свою глубину. Лишенная чувства формы, она никогда не сможет стать чѣм-либо, подобным латинскому и французскому гению — культурой законченнаго совершенства. Ея путь другой. Даже духовная глубина Достоевскаго пріоткрывает карамазовскую и шатовскую глубину — земли...

К сожалѣнію, наш вопрос остается без отвѣта. И на этом безотвѣтном вопросѣ мы должны поставить точку — или многоточіе — в предварительных поисках пореволюціоннаго чело-вѣка, как основы будущей русской культуры.

**Г. ФЕДОТОВ**